

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Галина Маневич

ДРУЗЬЯМ ИЗДАЛЕКА
ИЛИ
ПИСЬМА СТРАНСТВУЮЩЕГО РУССКОГО ГАМЛЕТА x)

x) Окончание. Начало в № 64.

"Дума", "перешедшая в сомнение"

"И наконец, ... возникла и встала в душе Григорьева рядом с первой нечастной любовью — вторая несчастная любовь: любовь к родине, к "почве". Так бывает в середине жизни. В народных песнях, в Гоголе, в Островском открылось ему то "безотчетное ~~неодолимое~~ ^{неодолимое}, что тянет каждого человека к земле его". За резкие слова об этой любви, всеми и всегда глумимой у нас, Григорьеву досталось довольно и в то время и в наше... Так как любовь Григорьева была, как и все его любви, бескорыстна и страстна, то он и не взял от нее ничего, кроме обиды и нового горя" ^{х)}, — проникновенно заметил А.Блок.

"Написавши книжку различных философских мечтаний о русском начале и другую маленькую лихорадочных сонетов, я замолк, не пишу ни строчки", — сообщает Ап.Григорьев М.Погодину 26 января 1858 года. Закономерно, что свои страстные и бескорыстные любви последний русский романтик не мог изложить ни философским, ни лирическим циклами. И если всю серию писем к Ек.Серг. Протопоповой пронизывала безнадежная и неотвязная любовь=эрос Ап.Григорьева к Л.Визард, то в письмах, адресованных к М.Погодину, Е.Эдельсону, Ап.Майкову сквозит не менее, а может быть и более, безотвязная, не терпящая эрзацов, любовь к родине: "За границей можно учиться и ездить по разным городам, но надобно быть чем-нибудь от Господа Бога обиженным, чтобы для удовольствия жить в каком-либо месте, кроме отечества", — скажет Ап.Григорьев. (М.П.Погодину, 8 ноября 1851 г.).

Проследивая письма Ап.Григорьева, связанные с комплексом его мечтаний о русском начале", замечаешь, что они не очерчиваются сразу какой-либо одной краской, так как ему суждено было терпеть проживание не одной жизни, а названной А.Блоком целой "несогласной компании", имеющей в Евангелии имя "легион".

^{х)} А.Блок. Судьба Аполлона Григорьева.

В отражении ~~по~~именованных страстей во Флорентийском эпистолярном цикле Ап.Григорьева и встает образ самозабвенно любимой России.

Прощай и ты, последняя зорька,
Цветок моей родины милой,
Кого так сладко, кого так горько
Любил я последнюю силой...

х х
х

"Благодарю Вас глубоко, душевно благодарю Вас, distinguished Михаил Петрович за Ваши оба письма, особенно за письмо от II октября: с ним не расстанусь, но все-таки скажу: я целовал в нем те строки, где говорите Вы: "Утро встает, заря занимается"... Я весь день проходил в каком-то чаду лирического упоения... Я ходил по всем местам, отыскивая хотя ли кого-нибудь из Русских, кому бы я мог броситься на шею, гордясь и тем, что я Русский, и даже своей Русской одеждой, которую сохранил я с упорством раскольника...". - восклицает Ап. Григорьев (27 сентября 1857 г.). Убежденно следуя формуле, что истинно русский человек - это "смесь фанатика с ерником", он заявляет Погодину: "Лирическое чувство, которым Ваше последнее письмо меня наполнило, несколько разлетелось потом... И знаете от чего? Читали ли Вы в "Норде" (в первых пяти ноябрьских номерах) один фельетончик из Петербурга, с р а м - н ы й фельетончик, где мы хотим показать, что мы дескать Европейцы и у нас есть блудницы, скандальная история, *l'art-monde?*... Это ужасно! Не знаю, произвел ли он в Вас то же чувство негодования... Ведь это голос из России, - это - *les prémisses* нашей свободы слова... Бедный, обманутый, самолюбием ли, безумным ли увлечением, Герцен! Неужели один подобный фельетон не наведет его на мысль..... что уж лучше старообрядчество, чем подобная пакость моральной распущенности" (8 ноября 1857г.). И действительно, эта странная смесь ерничества и славянофильства дает ощутить себя почти во всех письмах Ап.Григорьева.

"...Скажи Медведю Прову или Прову Медведовичу, что он и

и непосредственно прав в том, что нагло плзет на все не Русское..." (Эдельсону, II сентября 1857 г.).

Любовь к России, как и всё, чего касалась эта страстная натура, обретает в письмах Ап.Григорьева не созерцательный, а остро личностный, почти болезненный характер. Возникает тема России в некоей нераздельной цельности с собственной судьбой Ап.Григорьева.

Непосредственно живое чувство к Родине именно в Италии — этом чарующем "далеко" — провоцирует в Ап.Григорьеве идею осознать и оформить накопившиеся и переполнившие его ощущения... Ибо по словам Ап.Григорьева, сказанным М.Погодину, для него "чем-то болезненно странным становится привязанность к родине на чужой земле" (9 января 1858 г.). Так через чужое начинается углубленное проникновение в близкое.

Каждый раз пробуждение от лирического сна, прямое столкновение с миром действительности, открывало в нем особую ясность ума и верность почвенной, девственной вере. В письме к Михаилу Петровичу Погодину от 27 сентября 1857 г. мы встречаемся с таким замечанием Ап.Григорьева: "Мы хотим всё доказывать великие нелепости, как-то, что Византийские типы не в пример прекраснее, художественнее Итальянских Мадонн, и удивляемся, что никто этих нелепостей не слушает. А вот этаким факт гораздо назидательнее. В деревне *Fonte Mariano*, близ которой видла нашей принцессы, стоит на перекрестке прекрасный образ М^адонны; а в каком-нибудь Спасском, подле Москвы, в бедной деревенской церкви Суздальские иконы. Но в Понте и Мариано живут язычники, буквально язычники, которые едва ли имеют понятие о том, что Богородица не Бог; а в селе Спасском молятся уродливым иконам истинные Христиане, которые знают сердцем, что не иконам, а Незримому они молятся. Сила нашего именно в том, что оно не перешло в образы, заслоняющие собой идею, а осталось в линиях только напоминающих. А еще сила в том, что все наше есть еще живее, растительнее, когда здесь великолепное здание поросло мхом, и что еще не у я в и с я, ч т о б у д е т".

Удивительная особенность писем Ап.Григорьева — его говорение, лучше сказать — проговаривание философическими откро-

вениями. В эпоху крайнего упадка иконописного письма, как след влияния европейской религиозной живописи, православному сознанию Ап. Григорьева интуитивно явилась мысль, которая почти две трети века спустя ляжет в основу канонического труда Павла Флоренского — "Иконостас". Восхищаясь эстетическим совершенством итальянских мастеров, странствующий романтик отметил: сила русского иконописного мастерства в том, что "оно не перешло в образы, заслоняющие собою идею, а осталось в линиях, только напоминающих".

В контексте этих ощущений поражает описание Ап. Григорьевым службы в грандиозном католическом соборе *Дюста*, которое тоже некоторым образом предвосхищает идеи, высказанные Ф. М. Достоевским в его "Великом Инквизиторе". В письме к Евг. Эдельсону от 13 декабря 1857 г. из Флоренции Ап. Григорьев пишет: "Пошли в *Дюста*. Было что-то такое страшное и величавое в за-пустении и отоутствии овета (тьмой нельзя этого назвать, ибо белые мраморные стены), в немногих лампадах, в немногих посетителях внутри колосса, что я долго сидел, погруженный в целый огромный мир... С удивительной ясностью представилось мне время лет за 300 назад, когда с п и р и т еще не испарился из католицизма, несмотря на глубокий разврат монахов и Медичисов... Да, а теперь ты покинут, бедный колоссальный старик, покинут своими детьми, побежавшими слушать плохую оперу в кокетливый Аннунциате... Да!.. страшно мелочно здесь настоящее перед прошедшим — во всем, повсюду... Но не поделом ли ты покинут, старик? Не лежали ли в тебе *en germe* и в эпоху твоего цвета и силы все твои теперешние язвы?.. А! вот кстати и твой хвостик: направо запертые в огромном стеклянном шкафе (придел совершенно как шкаф) каноники режут головами разными что-то, чего никто не слышит, чего они сами не понимают. НЕ ты ли возжигал костры, когда человеческий разум требовал у тебя отчета? Поделом! Все это — мертвые формы и ерничество. Новое начало идет. Оно соблюдалось покамест в омирении православия. Широко развернется оно и своими догматами, и своими расколами. Добро-совестно я и тем и другим сочувствую и не пугаюсь уже своего сочувствия к Архирею Андрюшке в рассказе Салтыкова. Я не знаю,

какой цвет и какой плод дает это новое, которое во мне, как и во всей великой и богоспасаемой России, растет, но только у нас ещё жизнь живет, и растет всё от верований до народной песни. Отого-то "С нами Бог — разумеете языцы и покоряйтесь", ибо Он "несть Бог мертвых, но Бог живых". Через проникновение в образную символику латинской архитектуры открывается Ап. Григорьеву во всей своей естественной красоте душа православного собора. Голая математическая архитектура Ломбардии и растительная роскошь Миланского собора-сада рождает иной ассоциативный ряд — совершается прозрение: "Византийство (но не "Никола Морской") *en geste* несет в себе концепции более великие, более захватывающие дух — и ничто не сравнится с внутренностью Архангельского собора, взятой как *évangélique*, выполненная по ка-м е с т кирпичиком вместо мрамора, вохрой вместо краски, с трапизною церковью СЕргиевской Лавры, с галерейкою Спаса на Новом (можешь себе представить, что я пишу эти в святые и милые имена, а слезы так и льются! Вот, что значит, любезнейший, быть на чужой стороне! и это я говорю теперь с о з н а т е л ь н о, а не потому только, что русское начало, хоть и романтическое, у меня и в мозгу, и в крови". (Е.Эдельсону, 13 декабря 1857 г.).

Но желание сознательным / путем постигнуть "русское начало" постоянно опровергается Ап.Григорьевым в его романтическом опыте веры. 8 ноября 1857 г. он пишет своему учителю М.Погодину: "В настоящую эпоху жизни каждый день приносит мне новую моральную пытку и новый тягостный вопрос, и это иногда просто невыносимо. Иногда мне кажется, что ни от чего не убежал я, бежавши в Италию. Будущее темно — в настоящем какая-то безвыходная бездна вопросов и сомнений, какие-то слепые, но страшные ненависти, какие-то смутные, но пламенные верования... Во что? Вот в этом-то и вопрос... В Русское начало? Да что оно такое? Целую книгу написал я уже мечтами по его поводу и анализом самым бесстрашным, а в голове и в сердце все ещё тьматумущая. Ясно только отрицание, ясна только ожесточенная ненависть ко всему, что или с точки зрения "Маяка" обузывает, или с точки зрения вышеписанных фельетончиков, (в которые сводится весь П_е_тербург и вся о б р а з о в а н н о с т ь) его

сглаживает... А мне тридцать пять лет, и я один из тех, которым чутье этого начала давалось и дается; неужели же вся жизнь так и пройдет без порешения.....? "Заря занимается" — пишите вы, но только заря, вечная заря, которую уже мы все, право, сыты".

Если все журнально-критические иллюзии Ап.Григорьева, связанные с идеей служения — с надеждами на возрождение "Москвитянина", обернутся утратой, то мечты и догадки о "русском начале", которые "тьмой-тьмущей" теснили голову и сердце Ап.Григорьева, постепенно обретают в письмах стройность теории. Они в силу своей исключительности не укладываются в прокрустово ложе ни западной, ни славянофильской концепции.

В письме к Эдельсону от 16 ноября 1857 г. Ап.Григорьев пишет: "Для меня ясно, как Божий день, что:

1) Все прошло, кроме нового начала жизни, которое мы называем русским.

2) Что безумно ограничивать его старым идеалом, но что старый идеал, волею исторических судеб, есть для него то же, что было для идеи Христианства — Еврейство и ковчег Завета, в котором таился неведомый Егова.

3) Что оно, как всякое живое начало, — действительно, т.е. имеет две силы, стремительную и осаживающую. Все это не ново, конечно, все это более или менее я говорил прежде... *Distinguo*. Но с такою прочностью я не боюсь теперь слова: историческая вера, ибо верить в начала, в силы не значит верить в слепую историю. Да в историю верить и нельзя или слово верить должно заменить здесь словом: надменно признавать, что такая-то и такая-то теория есть конечное слово разума".

Уникальность этой теории Ап.Григорьева именно в том, что при самом глубоком уважении к славянофилам — И.Киреевскому и Ал.Хомякову, при исповедании основного ряда их убеждений, как и некоего круга западных, он не отождествлял себя ни с тем, ни с другим течением, а стремился определить и нащупать свой искомый "X". Задавая традиционные вопросы, он получает совсем не традиционные ответы.

При славянофильской вере в торжество Православия и особую

миссию русского народа, Ап.Григорьев вполне западническими глазами смотрит на послепетровский период истории России. Такого рода интеграция идей помогает ему вывести новую формулу "русского начала", понимаемого им как органически-стихийное.

х х

х

"То, что я выработал в себе в последние годы, то при мне и останется. Знаю только теперь положительно и оканчательно, что я столь же мало славянофил, сколь мало западник, что истинно общее у меня, ненатянутое, искреннее, только с Вами с одной стороны, с Островским — с другой (М.Погодину, 27 сентября 1857 г.) — "Для меня все яснее и яснее становится мысль, что под покровом разных толков таятся живые начала: боярское, Варяжское или Татарское — в одном; л е в и т с к о е — в другом; земское (промышленное и земледельческое вместе, а не врозь) — в третьем, и т.д. Все это, с т и х и й н о е, что в нас облекается то тою, то другою оболочкою, со временем выступит резко и ясно... А пока... пока, чему же прикажете следовать, как не темным указаниям этого стихийного? Ведь это темное... сказывается в душе такими осязательными ненавистями и такими существенными привязанностями" (18 ноября 1857 г.), — заявляет Ап.Григорьев в письмах к М.П.Погодину. Отмечая стихийное начало как особую одаренность в судьбе своего народа, он в вакханалиях видит очистительный момент, необходимый для судеб отдельных душ и для судьбы искусства. "Запрещение "Доходного места", когда позволяются вещи Щедрина, комедии Львова и проч., доказывает для меня только силу истинного Искусства, смутно чуемую всякою грязью и подлостью. Да! "Доходное место", со всеми своими огромными недостатками, все-таки дело живое, художественное, Божеское... и, по истинному, они его боятся. Но кто это о н и? Вот ужасный вопрос!... Что такое мы, то (собираательно) это — мы, которым принадлежит будущее мира и которые не справятся с каким-нибудь обедом без скандала...", — пишет он Погодину 26 января 1858 года. Н е что созвуч-

ное два месяца назад — 5 декабря 1857 года — он формулировал Е.Эдельсону: "Наилучшее было то, что по натуре нашей, везде, где мы являлись, мы более или менее заводили кабаки и погребки. Это я говорю вовсе не шутя — хотя, сознательно и смело, способны всюду проповедывать прелесть кабацкой простоты только я и Писемский, который практически подвизается в сей проповеди в кружках Петербургских литераторов... Кабацкое и погребное в нас это — Вакханалии нового, идущего от Бога, вакханалии страшные и трагические для тех, которые в них завертятся: вскипевшая пена того, что варится удобно и спокойно в Иване Шанине или в моем приятеле Василии Левине.... Следует ли из этого, что надо пить и безобразничать? Н_икак не следует, по крайней мере для тех, которые способны сознать закон этого, ибо сознать — значит в ы д е л и т ь с я из смутного единства с известным миром, значит уже обратить его в нечто прошедшее, т.е. уже найти своего Бога, очищенного, и д е а л ь н о г о, светоносного, но все-таки этот, а не другой какой мир создавшего и потому Бога живого. Ты скажешь, что идеи Шеллинга мною кр_одственно обращаются на безобразия." Действительно, идеи Шеллинга, — создателя "трансцендентального идеализма" — не только повергают Ал. Григорьева в лирический восторг, как пластические искусства древних мастеров Италии и Испании, но приводят к выводу основной формулы "русского начала".

"Глубоко говорит Шеллинг, — пишет он Е.Эдельсону, — что появление нового Бога выражается первоначально в вакханалиях, неистовстве, кр_одстве — результатах могущественного, но не уясненного самому себе предчувствия, пламенной, но не проведенной в догматы веры. Этот момент есть в процессах целых эпох, есть и в процессах отдельных душ, как есть во всем создании, ибо этот процесс космический. Этим я не хочу сказать, что душа моя п р о ш л а уже эту минуту. Никто из нас н е п р о й д е т ее совсем... Всем нам суждено только ждать и под конец разве сказать: "Ныне отпускаеши"... Но те сочувствия, те ненависти, которые лихорадочно бились во мне всегда, получают необоримую прямоту и крепость" (13 ноября, 1857г.). "Может быть, мы ничего не сделаем, — объясняет он М.Погодину, — может быть, мы только брага или даже пена будущего пива, но

если чему-либо делаться в настоящую минуту, то наших рук дело миновать не может. Гордость — скажете Вы... Не знаю, только будьте добросовестны сами и скажите: много ли Вы ждете от Ваших беззагульных праведников, которые, впрочем, все очень хорошие и почтенные люди! Но Боже мой!" (10 августа 1857 г.).

Погружение в философию Ф.Шеллинга, воспринятую Ап.Григорьевым как Откровение, обаянию которой было подвержено русское западничество — П.Чаадаев, Н.Станкевич, В.белинский — начинает разводить его со славянофилами, коих он называл "хорошими и почтенными" людьми. Ибо тот идеальный образ России, который прозревал в своей душе последний русский романтик, мало-помалу отчуждался от славянофильского, так же, как и от западнического.

В предсмертной статье "О необходимости и возможности новых начал для философии" И.Киреевский писал: "Быв от рождения протестантом, Шеллинг был, однакоже, столько искренен и добросовестен в своих внутренних убеждениях, что не мог не видеть ограниченности протестантизма, отвергающего предание, которое хранилось в римской церкви, и часто выражал это воззрение свое; так что долгое время по Германии ходили слухи, что Шеллинг перешел к римской церкви. Но Шеллинг так же ясно видел и в римской церкви смешение предания истинного с неистинным, божественного с человеческим. Тяжелое должно быть состояние человека, который томится внутреннею жаждой божественной истины и не находит чистой религии, которая бы могла удовлетворить этой всепроникающей потребности. Ему оставалось одно: собственными силами добывать и отыскивать из смешанного христианского предания то, что соответствовало его внутреннему понятию о христианской истине. Жалкая работа — сочинять себе веру!... в писаниях св.отцов искал Шеллинг выражения богословских догматов, но не ценит их умозрительных понятий о разуме и о законах высшего познания. По этой причине положительная сторона его системы, не имея внутреннего характера верующего мышления, хотя мало нашла сочувствия в Германии, но еще менее может найти его в России. Ибо Россия может увлекаться логическими системами иноземных философий, которые для нее ещё новы; но длялюбомудрия верующего она строже других земель Европы, имея высокие образцы духовного мышления в древних св.отцах и в великих духовных писа-

ниях всех времен, не исключая настоящего. Зато отрицательная ~~сторона~~ ~~Шеллинговой~~ системы, обнимающая несостоятельность ~~рационального~~ мышления, вряд ли может быть так беспристрастно оценена в Германии, сроднившейся со своим отвлеченным и логическим мышлением, как в России, где, после первого юношеского увлечения чужой системой, человек свободнее может возвратиться к существенной разумности — особенно когда эта существенная разумность согласна с его исторической своеобразностью.

Потому я думаю, что философия немецкая в совокупности с тем развитием, которое она получила в последней системе Шеллинга, может служить у нас своею удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любознательному, соответствующему основным началам древнерусской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разума" х)

Если славянофильскому миросозерцанию И.Киреевского в писаниях св.отцов виделось то живое чувство, которое единственное способно выявить истинный лик России, то Ап.Григорьеву теперь мерещились иные идеалы.

"Я в Шеллинге всё меньше и меньше нахожу нового, — пишет Ап.Григорьев Евг.Эдельсону, — но понимаю только яснее, почему покойник Киреевский, видя в нем явления тысячелетий, как Платон, тем не менее, придавал ему только отрицательное значение. Отношение мысли Киреевского, впрочем, весьма почтенной, к живой мысли Шеллинга точно такое же, как отношение славянофильского чувства к нашему живому чувству... Они не верят в искусство, т.е., что это значит? Они думают, что жизнь должна идти по теории, ибо, как только неверие в искусство, так вера в теорию. (5 декабря, 1857 г.).

Теперь живая вера в И.Киреевского, столь непосредственно связанная с духовной жизнью старцев Оптиной пустыни, представляется Ап.Григорьеву в лучшем случае "почтенной теорией" в худшем — "мертвячиной". При этом, будучи истинно русской натурой, то есть ощущая в себе некий симбиоз фанатика и ерника, Ап.Григорьев, с одной стороны, — не мыслит себя вне православ-

х) И.В.Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. В кн.: Критика и эстетика. М., 1979.

вия; с другой, — пытается, как Шеллинг и Ф.Шеллинг, "сочинить себе веру". В яростной полемике с официальным православием А.Муравьева и фарисейством Бецкого Ап.Григорьев, вопреки разуму, начинает попирать основы духовной жизни того начала, которое им зовется восточным и русским, и которое в такой неожиданной ясности однажды увиделось ему: "Теория и жизнь, вот запад и восток в настоящую минуту. Запад дошел до мысли, что человечество существует само для себя, для своего счастья, стало быть, должно определиться теоретически, успокоиться в конечной цели, в возможно полном пользовании. Восток внутренне носит в себе живую мысль, что человечество существует во свидетельство неистощенных ещё и неистощимых чудес Великого Художника, наслаждаться призвано светом и тенями Его картин; отсюда и грань. Запад дошел до отвлеченного лица —человечества. Восток верует только в душу живую и не признает развития этой души" (М.Погодину, 7 марта 1857 г.).

В письме же к Ап.Майкову от 9 января 1858 г., в котором, по словам Ап.Григорьева, высказаны "намекы" той "книжицы", где он "беспощадно разоблачил всякую ложь и в себе, и во всех нас, друзья мои", предстает достаточно обнаженно трагический парадокс сочиненной им идеальной формулы веры, которая как бы опровергает славянофильский принцип общинной соборности, выдвинутый А.Хомяковым. Если по А.Хомякову "Любовь не есть стремление одинокое: она требует, находит, творит отзвуки и общение; и сама в отзвуках и общении растет, крепнет и совершенствуется. Итак, общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. Эта черта резко отделяет учение Православное от всех остальных, от Латинства, стоящего на внешнем авторитете, и от Протестантства, отрешающего личность до свободы в пустынях рассудочной отвлеченности" ^{х)}, то по Ап.Григорьеву иначе:

^{х)} Сочинения А.С.Хомякова. Собрание отдельных статей и замечаний разнородного содержания. М., В типографии П.Бахметьева, 1861 г. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В.Киреевского.

"Мысль об уничтожении личности общностью в нашей русской душе есть именно слабая сторона Славянофильства. Так к а ж е т — с я только сначала, и сам Пушкин, притворявшийся иногда Иваном Петровичем Белкиным, понимал этот процесс:.. но куда же дел бы он те силы, которые примеривались к образам Алеко, Дон Жуана и проч., и проч.? Это идет, в каждом из нас и в ^{идеи} целой нашей эпохе — процесс Ивана Петровича Белкина, смиряющего, безличного начала, а лучше-то, правильнее сказать критикующего начала, критикующего разные мундиры, в которые личность облеклась. Мы лгали, когда облекались в разные хламицы, да лжем и теперь, когда признаем с Толстым один г е р о и з м капитана его (в Кавказских сценах) или, пожалуй, Лермонтовского Максим Максимыча. И первый лжет Толстой, лжет упорно добросовестно, пока не дойдет до бездны, до поворота... Н е лжет один Островский, а дает, часто *главизм*, наобум, то, что говорит кровь, ибо этот человек по натуре своей лгать не может. Народное наше, типическое, не есть одно только старое, но старое и новое, ибо лучше та д в о й с т в е н н о с т ь, которая всюду у нас проглядывает в старом и новом: князья дружинники и охранники и князья промышленности-вотчинники, святость Ильи Муромца и ерничество Алеши П ^оповича, земледельческое население и купеческое, покорность семейному началу в одной Песне и з а г у л в отношении к этому началу в другой и проч...". Однако, далее, противореча себе, Ап.Григорьев пишет: "Твое письмо ещё более утвердило меня в мысли, что именно ты-то и принадлежишь к числу личностей, не могущих жить без абсолюта, т.е. без целостного мирозерцания, т.е. без веры. Ищи же абсолюта твердо, честно, не боясь страданий. В абсолюте, т.е. в вере есть действительно нечто таинственное, но оно иногда удивительно ясно. Только опять под видом веры не увлекись православием Андрюшки Муравьева. Это мерзость (несодеянная) равно как и народность "Маяка". Я не знаю, что для меня отвратительнее: петербургский прогресс, разрешающийся фельетоном в "Word" о б....., или дилетантизм православия, или наконец цинический атеизм Герцена! Все это вещи равного нумера и достоинства, и "три е я" одинаково происходят от одной причины: от неверия в жизнь, идеалы и искусство. Все это разрешается у т и л и т а р н о утопией плотского благополучия или душевного рабства

и китайским застоєм под гнетом в н е ш н е г о единства, за отсутствием единства внутреннего, т.е. Христа, т.е. Идеала, т.е. М е р н, Красоты, в которой одной заключается истина и в которой одной входит истина в душу человека. Все великое вошло в жизнь воплощением в искусстве, наука была дело черное, разъяснение искусства. Искусство — это второй мир второго творца". Итак, с одной стороны, Ап. Григорьев считает, что "народное наше, типическое, не есть только старое, но старое и новое, ибо лучше та д в о й с т в е н н о с т ь, которая всюду у нас проглядывает"; с другой, — он призывает Ап. Майкова обрести "твердо, честно, не боясь страданий" символ веры и целостность мирозерцания. Казалось бы на этом уровне нет противоречий. Ибо в первом случае Ап. Григорьев говорит Ап. Майкову о лице нации, сложившимся в процессе истории, а далее предлагает обрести Символ веры, целостность мирозерцания. Действительно, вера, согласно Евангелию, — жизнь по благодати. Но только в опыте пророков, апостолов, святых между исторической и религиозной жизнью — жизнью по благодати — возникал знак тождества. Мирозерцание и вправду здесь имело целостность, а жизнь становилась житием. По этому, следуя Евангельскому Откровению и Христовым Заповедям блаженства, между мистическим лицом нации и его исторически-конкретным воплощением не может ставиться знак равенства. Св.отцы не отождествляли Церковь земную и Церковь небесную. Ап. Григорьев как бы старается держаться евангельской традиции, пытаясь быть по возможности осторожным, он увещевает Ап. Майкова: "В абсолюте, т.е. в вере, есть действительно нечто таинственное, но оно иногда удивительно ясно. Только опять под видом веры, Бога ради, не увлекись православием Андрюшки Муравьева". Однако даже абсолютный идеал вновь подменяется у него относительным, лик Христа — латинской Красотой. Правда, Ап. Григорьев снова останавливается и называет искусство "вторым миром второго творца", вступая в полемику с современными германо-романскими идеями. "Мечты о новом искусстве — оудороги истощенного германо-романского мира в его добросовестнейших представителях Ванде и Листе и т.п. Они не видят и не могут видеть того, что ж и з н ь истощалась, и н о в а я начинается, новая, которая пойдет от толчка православия, второй оболочки Христова учения,

православия, которое носит *en jectis* свой протест в себе, ретроградный. В этой-то силе — новый мир, и, стало быть, не новое искусство, а Гомеровское, Дантовское, Шекспировское искусство нового мира. Задатки его — Рафаэлевский контур без красок, Пушкин и Мицкевич — вода и ~~огонь~~ огонь, море и горы нового мира... Все жгучее Европейских пророков в певце Валленрода, все широкое, безграничное и вместе ~~с~~ женственно-ласкающее в натуре Пушкина. В Пушкине только мы в нашу меру впервые любим, впервые верим, впервые сознаем себя: это море своим разливом определяет границы нашей сущности".

В этом письме Ап.Григорьева возникает зародыш мысли, которая позднее программно прозвучит в его знаменитой статье "Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина", опубликованной в 1859 г. в "Русском слове". "Пушкин — наше все: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами" ^{х)}.

Парадокс в том, что в данных словах Ап.Григорьева слышен отзвук окаменевших и уже остывших мыслей немецких романтиков. Теперь немецкие идеи получают второе дыхание в своеобразной русской аранжировке. Если по Ф.Шеллингу лишь "чудодейственное искусство" обладает "абсолютной тождественностью", ибо оно "отражает то, что не допускает никакого отражения в мысли" ^{xx)}, а по Ф.Шлегелю: "Благодаря художникам человечество становится индивидом, ибо они ^л соединяют прошлый и будущий мир в настоящем. Они — это высший орган души, где встречаются жизненные силы всего внешнего человечества и где внутреннее человечество проявляется прежде всего" ^{xxx)}, то вот вариации Ап.Григорьева на данную тему: "Я все-таки остаюсь той веры, что всё живое".

Ап.Григорьев. Литературная критика. Художественная литература. М.,.

xx) Ф.В.Шеллинг. Система трансцендентального идеализма. ОГИЗ, 1936 г.

xxx) Фридрих Шлегель. Эстетика. Философия. Критика. т. I. Идеи. М., 1983.

вое вливается в мир только искусством" ~~М.П.Погодину~~ (М.П.Погодину, 8 ноября 1857 г.), "На нас истины действуют образами, красотой, типичностью, и только оими средствами в нас входит и нам дается, а не выводами... чувство живого в жизни, любовь к жизни и отвращение ко всякой мертвечине... Одним словом, это есть второе слово "непосредственность" (Евг.Эдельсону).

Так в "непосредственном" общении с уходящей латино-германской культурой, с живым для Ап.Григорьева дыханием Ф.Шеллинга и иенцев, одаренная, восприимчивая русская натура выносила и родила идею, генетически и духовно связанную с особенностями руссокой души. "Когда мы говорим здесь о русской сущности, о руссокой душе, — мы разумеем не сущность народную допетровскую и не сущность послепетровскую, а органическую целостность: мы верим в Русь, какова она есть, какой она оказалась или оказывается после стольких столкновений с другими жизнями, с другими народными организмами, после того, как она, воспринимая в себя различные элементы, — одни брала и берет как родственные, другие отрицала и отрицает как чуждые и враждебные..." ^{х)}

В этом контексте вспоминаются слова из письма, обращенного к Ап.Майкову: "Верь только в народ, старый и новый вместе. Он велик и ему принадлежит всё будущее мира, ибо, кроме его, ничего нет живого". И другие: "Всякая ж и з н ь имеет двойственный лик Януса (потому-то она и жизнь)".

Так апофеоз двойственности, действительно имеющий отношение к сегодняшнему, социально-историческому, временному бытию переносится им на вечное, абсолютное. Точнее говоря, относительные категории начинают уравниваться с вечными. Выстраивается иная иерархия, разрушающая онтологические понятия об Истине и Вере. Теперь Вера и Истина обретают у Ап.Григорьева двойственный "лик Януса". С одной стороны, — вера во Христа и Православие; с другой, — в выведенную им формулу "русского начала", которое по мере погружения в него становится преобладающим в его мирозерцании. Согласно же ап.Павлу, писание говорит: "Всякий, верующий в Него, не постыдится" (Исаия 28, ^{х)}

Аполлон Григорьев. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Литературная критика. М., 1967 г.

16). Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо "всякий, кто призовет имя Господне, спасется" (Иоэль 2,32) (К римлянам 10,12-13).

Достигнув своего апогея, пафос Ап. Григорьева обернется своей противоположностью. Ибо Ап. Григорьев и вправду православная натура, то есть всегда почитающая себя грешной — вечный мытарь. Поэтому конкретно-историческое лицо России, в котором лик живаго Бога подернулся татиной и затерялся в стихийном потоке жизни, начинает мучить Ап. Григорьева своим трагическим несоответствием абсолюту.

х х

х

Естественно, что вторая, а может быть и самая главная любовь Ап. Григорьева — тема его лирических "мечтаний о русском начале" — точно так же, как и первая, получила романтически-трагическую окраску в его письмах. Ее музыкальное движение развивается следующим образом: постепенно, в субъективно-лирической мелодии, существующей под покровом безысходной русской тоски, выкристаллизовывается мажорная, патетическая, получившая право на самостоятельное звучание. Достигнув кульминации, отвоевав себе в пространстве писем прочную автономию, изменив интонационную безысходность "мечтаний", она неожиданно вновь возвращается в свое русло. Пафос оборачивается безнадёжностью. Русская тоска оказывается доминантой. Ибо в этот самый момент, когда страстная, вдохновленная вера Ап. Григорьева в живое органическое начало русской жизни превратилась в теорию, она в процессе столкновения с идеологией западников и верой славянофилов начала терять непосредственность, то есть главную свою ценностную ориентацию. А при первом касании к действительности эта в муках рожденная позитивная теория, столкнувшись с тотальным несоответствием, очутившись в духовной изоляции, утратила свою интонацию публицистического ответа и ~~вернулась~~ возвратилась на круги своя.

Пафосная программа Ап. Григорьева опять излилась монологом

крайнего лирического отчаяния, высказанного в форме философических вопросов. Данное музыкальное развитие темы, с одной стороны, выстраивает своеобразную кривую душевной жизни последнего русского романтика, с другой, — определяет степень убежденности или градус веры Ап. Григорьева в истинность не столько его теории, сколько его пути — своеобразной экзистенции, которая в письмах Ап. Григорьева получила название "непосредственный романтизм".

Если в первом письме из Италии к Евг. Эдельсону Ап. Григорьев описывал свое бытие таким образом: "Жизнь моя замыкается в следующие формулы: учу, учусь, пишу, читаю Шеллинга и езжу верхом миль по 15 (наших верст по 20) в день и под конец всего, когда все спит вокруг, пишу свою странную поэму, состоящую из сонетов. За всем сим, я хандрю и скучаю, ибо не могу в чужой земле радоваться тому, "что я немец и у меня есть король в Германии", как Г. Голевский сапожник Шиллер. **Ж и т ь** (иногда и премилая жизнь) можно только в России, даже, официально говоря, в Москве, хоть и возвратясь, в Москве, я, кажется, подчиню себя тому мудрому однообразию, к которому уже приучил себя" (II сентября 1857 г.), то в одном из последних писем из Италии (к М. Погодину, 7 марта 1858 г.), уже нами упомянутому, с предельной ясностью ощущается саморазрушение его теории. Отчаяние рождает тоску по утраченному абсолюту. Как всегда, в момент отчаянного, а не пафосного, и патетического говорения возникают удивительно живые картины созерцаний и почти пророческих видений Ап. Григорьева. Снова вспоминаются слова Блока, что "в судьбе Ап. Григорьева сколь она ни "человечна" (в дурном смысле слова), все-таки вздрагивают отзвуки Мировой Души; душа Григорьева связана с "глубинами", хоть и не столь прочно и не столь очевидно, как душа Достоевского и душа Владимира Соловьева" ^х).

"Лиси язвины имут и птицы гнезда; Сын же человеческий не имать, где главы поклонити". Так и наши воззрения или, лучше сказать, наше внутреннее чувство... — пишет Ап. Григорьев. — Никто не знает и знать не хочет, что в нем-то, т.е. в П Р А В О С Л А В И И (понимая под сим р а в н о Православие отца Парфения и Иннокентия и исключая из него только Бец-

кого и Андриюшку Муравьева) заключается истинный демократизм, т.е. не *réhabilitation de la chair*, а торжество души, души в н о г о начала. Никто этого не знает, всякого от И Православия "претит", ибо для всех оно слилось с ужасными вещами, а мы, носители его и жрецы — пьяные вакханки, совершающие культ тревожный, лихорадочный новому, неведомому богу. Так вакханками и околеем. Это горестно, но правда... Горестней же всего то, что этого ничего нельзя говорить, ибо, заговоривши, примыкаешь к официальным опекунам и попечителям Православия или подвергаешься нареканию в "Брынской вере".

Увы! Н о в о е идет в жизнь, но мы — его жертвы. Жертвы, не имеющие утешения даже в призвании. Жертвы Герцена — оценю даже я, православный, а наших жертв никто не признает: слепые отихии, мы и заслуги — то даже не имеем. Вот почему наше дело пропащее.

А своекорыстие одних из нас и полная распущенность других (к числу последних принадлежу я сам)! Меня, например, никакие условия человеческие не могут ни спасти, ни справиться. Для меня нет опытов — я впадаю вечно в стихийные стремления... Ничего так не жажду я, как смерти. Еще прошлый год, во время тяжелой болезни, я испытывал к ней тупейшее равнодушие, а теперь еще более... Ни из меня, ни из нас вообще — ничего не выйдет да и выйти не может, да и время теперь не такое. Мы люди такого далекого будущего, которое купится еще долгим, долгим процессом. ... Мне так тяжело, что Вы простите мне мое моральное отчаяние. Право, оно результат таких долгих дум, таких долгих ночей без сна, такого цинического анализа самого себя, таких раздражений собственными и чужими гадостями... О, какая мы дрянь и как свято то, что мы в груди носим, как перед этим носимым жалко и узко все, что доселе носили другие мы, т.е. народ, народ свежий и вместе извращенный столетиями неестественной жизни, доведенный до тупости чувства и вместе ко всему относящийся критически! Не верю я ни во что, что у нас делается, ибо везде вижу шаг вперед, да три назад. Кажется, завязал глаза и бежал еще за тридевять земель, хотя бы в тридесятом государстве и истосковался до беснования по проклятой и вместе милой родине".

В одном из первых писем к Ек.Серг.Протопоповой Ап. Григорьев почти афористически сформулировал персоналистическую особенность своего мироощущения: "Враг и гонитель казенщины впечатлений, я и здесь всё тот же. Всякое впечатление обращается у меня в думу, всякая дума переходит в сомнение и всякое сомнение обращается в тоску". Если "впечатления" от столкновения с латинской культурой выросли у него в философскую "думу" о "русском начале", то это долгая и мучительная "дума", обретя свои конкретные очертания и оплотнения, неожиданно засветилась сомнением, а сомнение и обернулось этой странной и неизлечимой тоской: "Ничего так не жду я, как смерти". Вторая "бескорыстная любовь" Ап.Григорьева осталась, точно так же, как и первая, безответной. Вот оно, появление "нового горя", о котором говорил А.Блок. Единственной реальностью для Ап.Григорьева становится небытие. Но он все-таки православная душа, поэтому, веря себя во власть Божественного Проведения, даже в моменты самого крайнего отчаяния не подчинялся конечной акции кирилловско-ставрогинского своеволия. Живя жизнью страстей целой "несогласной компанией", он слушал музыку безысходной русской тоски. В этой тоске и родилось его персоналистическое кредо — "непосредственный романтизм".

Прости-прощай ты, стемнели воды...

Сердце разбито глубоко...

За странным словом, за сном свободы

Плыву я далеко, далеко...

"Сомнение", "обращенное в тоску"

Григорьева называли иногда (метко и неметко) Гамлетом. Не быть принцем московскому мещанину; но были все-таки в Григорьеве гамлетовские черты: он ничего не предал, ничему не изменил; он никого и ничего не увлек за собою; погибая, он отравил только собственную жизнь: "жизнь свою, жизнь свою, жизнь свою", — писал А.Блок. Действительно, как это ни парадоксально, но русский мещанин был носителем той частицы переволотившейся трагической души принца датского, которая полу-

чила право на "жительство" в России вместе с Гамлетом Мочалова и дожидая до наших дней, органично вписавшись в поэзию позднего Пастернака, то есть Юрия Живаго.

24

Прости меня! Романтик с малолетства
До зрелых лет — увы! я сохранил
Мочаловского времени наследство
И, как Торцов, "трагедии любил".
Я склонность к героическому с детства
Почувствовал, в душе ее носил,
Как некий клад, испробовал все средства
Жизнь прожигать и безобразно пил;
Но было в этом донкихотстве диком
Не самолюбья пошлосте одно:
Кто слезы лить способен о великом,
Чье сердце жаждой истины полно,
В ком фанатизм способен на смирение,
На том печать избранья и служенья.

25

А все же я "трагедии ломал",
Хоть над трагизмом первый издевался...
Мочаловский заветный идеал
Невольно предо мною рисовался;
Но с ужасом я часто узнавал,
Что я до боли сердца заигрался,
В страданиях ложных искренно страдал
И гамлетовским хохотом смеялся,
Что билася действительно во мне
Какая-то неправильная жила
И в страстно-лихорадочном огне
Меня всегда держала и томила,
Что в меру я — уж так судил мне Бог —
Ни радоваться, ни страдать не мог!

(*"Генезиса ВМ"*, "Дневник странствующего романтика". Отрывок из книги "Одиссея о последнем романтике".)

" На воспитание князька я взглянул, благодаря моей страстной натуре, весьма серьезно и с начала, ещё более серьезно гляжу теперь. Но еще до сих пор я то прихожу в горькое отчаяние, то преисполняюсь надежды паче меры, и середины никак не найду. И не думайте, что виною этого было отсутствие середины только во мне самом. Нет! ... Но недаром же Господь наложил на меня этй зажачу, ибо даром в жизни ничего не бывает" (М.П.Погодину, 27 сентября 1857 г.). А в предшествующем письме Ап.Григорьев достаточно патетически извещал своего наставника: "Из князька — авось Господь поможет мне выделатъ что-нибудь путное. По крайней мере я принял это, как серьезную задачу, возложенную на меня Провидением, и в эту задачу кладу все силы, которые мне отпущены Господом Богом на дело...". Однако, вскоре интонация снижается. В письме к Ек.Серг.Протопоповой от 20 октября 1857 г. уже слышна нота сомнения: " Что бы ни было, все усилия положу, чтобы чего-нибудь добиться... Не даром же Бог именно меня, т.е. ходячий вулкан, послал в этот мирок... Неужели же энергия, честная и страстная, останется бесплодною? Вздор! не было еще до сих пор примера, чтобы то, чем я серьезно и упорно занялся, ушло из моих рук...". Так одновременно и вдохновенно и по-христиански благодарно Ап.Григорьев берется за дело, которое он воспринял как спасительную палочку для сохранения жизни утопающего. Теперь поэту и критику поприще воспитателя мыслится служением правде. Со всем пылом "вулканической" энергии Ап.Григорьев включается в борьбу за душу юного князя. "Привязанность князька ко мне не ослабевает, а получается эта привязанность р простотой и душевностью моего отношения да верным служением убеждению. Он по крайней мере, понимает, что я занимаюсь с ним всеми данными средствами, а не как наемник, который "б е ж и т, я к о н а е м н и к е с т ь" (М.П.Погодину, 18 ноября 1857 г.). Но это бескорыстное и бескомпромиссное служение в доме князя продолжается до тех пор, пока не посягают на его свободу. В ответ на замечание княгини по поводу поздних возвращений, Ап.Григорьев,

не имея ни гроша в кармане, съезжает на новую квартиру.

"Уживчивость моя простирается всегда только до первых попыток на мою свободу, — единственное благо, которое у меня есть и которого никто у меня отнять не может... Зато мой воспитанник меня начинает радовать. Сегодня он подал мне такое сочинение, что я в невольном порыве радости перекрестил и поцеловал его. Благородное убеждение и святое чувство свободы проникло-таки, наконец, в эту критическую натуру... Вообще, сколько, воспитывая, я передумал в это время о воспитании!.. Нет, да не манит никто человеческую душу к правде прикормкою, как рыбу, или оластями, как обжорливое дитя. Маните к ней на лезвие ~~мечей~~ меча. Долго будет душа противиться, но если уж наконец пойдет на это, на голую, прямую, честную правду жизни, то значит — это человеческая душа! Видите, избранный мною старец и отец духовный, что я остаюсь все тем же неизлечимым идеалистом, даже закаляюсь в идеализме, и браните меня, е с л и м о ж е т е" (9 февраля 1858 г.). И далее ответ на последующее послание М.П.Погодина, в котором Ал.Григорьев четко расшифровывает своему наставнику, что он понимает под принципом личной свободы: "Прежде чем упрекать меня в какой-то дури и не верить (как это мило) тому, что я имел честь описать Вам, надобно было самого себя спросить: ч е м Вы посылали к Трубецким человека, который до сорока лет не нашел правды, крова и пристанища, или, по милым выражениям Никиты Крылова, к о п е е ч к и и земли под ногами, до сорока лет умел и сумеет всегда остаться самим собой, т.е. ч е л о в е к о м, и о в о б о д н ы м, — чем вы его послали: л а к е е м или у ч и т е л е м? — писал он М. Погодину. — В лакеи я не нанимался и поэтому-то мой переезд от Трубецких на квартиру считаю одним из д о с т о й н е й ш и х поступков моей жизни; а как учитель я выполнил, выполняю честно и даже более чем честно. Вместо того, чтобы за окончательное с о з р е н и е во мне мысли о честности гражданина, за мою отставку, и также мысли о достоинстве литератора и человека послать мне одобрительное и приветственное слово, Вы, как запившему Василию Дементьеву, посылаете увещание п о п р а в и т ь, что я наделал х у д о г о". (11 мая 1858 г.).

В этом конфликте с Трубецкими и, как след его, с М.Погодиным вскрывается во всей полноте сущность философии жизни Ап.Григорьева, архетип русского Гамлета — его "внутренний вопрос" о "непосредственном романтизме", его способ "жить по душе", — то есть жертвовать всем вопреки здравому смыслу во имя сохранения "достоинства литератора и человека" с точки зрения "неизлечимого идеализма".

х

х

х

Италия, дом князей Трубецких — новая, вполне экзотическая атмосфера, обеспечивающая расслабленное и респектабельное существование, превращается для Ап.Григорьева в арену борьбы. Здесь происходит прояснение всех наболевших духовных и экзистенциальных вопросов — приходит момент осознать свою деятельность литератора как единовозможный для себя способ существования, вне которого он не мыслит своей будущей жизни. "Не выгорит наше дело по "Москвитянину", — пишет он Погодину, — нечего делать, придется пожертвовать домом, а материального обеспечения искать в Петербурге. Дело в том, что на роду мне, знать, написано было быть ничем иным, как русским литератором, и ни к чему другому я не способен. Со службой надобно покончить навсегда и это вовсе не из "Дон-Кихота" какого-нибудь, а из того, что ни моральных, ни служебных сил у меня не станет более надувать человечество, читая в Гимназии предмет, который я считаю для Гимназии бесполезным и которого я несколько не знаю. Ленъ ли это — умозаключайте из того, что я аккуратнейшим образом и со старанием возовой лошади буду всегда делать ежедневно то, что я умею делать; никаких сил также не станет у меня выносить формализм служебный. Да и незачем, — в случае ли успеха "Москвитянина", в случае ли переезда в Петербург... До сих пор мы все говорили о "Москвитянине" как-то воздушно и этим воздушным характером начинающий да Вашей болезнью объясняется то, что Вы сердились, когда я Вам говорил о покупках для "Москвитянина" и проч. Но

либо я действительно удостоен Вами доверенности в качестве редактора, либо это какая-то игра. Смотрю на вещи прямо и здесь, как смотрел там. О том, что у меня мало земли под ногами, — как выражался человек, которого ум я глубоко уважаю, но характер гражданский и личный ценю весьма дешево, — жалеть нечего. Земли всегда будет достаточно под каждым из нас со временем: были бы крылья! Это воззрение ещё более укрепляется у меня в земле, где земля и море, и небо, и горы так хороши, что должны бы, напротив, к себе притягивать. Мне лично терять уже нечего, но э т и м — т о (и только этим: я очень знаю себе цену) я и дорог для дела: дело есть для меня всё" (26 августа, 1857 г.).

И далее, связывая для себя свою литературную деятельность, и собственно свою жизнь с "Москвитянином", Ап. Григорьев заявляет Погодину: "Либо "Москвитянину" вовсе надо прекратиться, либо выставить на знамени уже неограниченную независимость мнения и стать чисто-критическим во всем, в литературе, политике и прочем. Одним словом, поворот к той же мысли, по которой строил я план "Москвитянина", в форме и размере добрых покойников "Телеграфа" и "Телескопа" с тяжкою ляжкой на время, с расчетом на одну правду и смелость, с отсутствием, прямо объявленным, всякой словесности, — и мечты о соединении в нем прежних сотрудников разрешены. Что Вы мне скажете? (18 ноября 1857 г.). Теперь свою судьбу Ап. Григорьев не мыслит вне литературы и критики. В письме к Евг. Эдельсону от 9 января 1858 г. он излагает конкретные планы, обусловленные предполагаемым "Москвитянином": "Я, срамясь или не срамясь, должен по возвращении издавать переданный мне "Москвитянин". Как я его буду издавать, я не знаю — но издавать буду. Мои планы в отношении к нему аот какие.

1) Испросить позволения переименовать его "Московским телеграфом". Покойник оставил по себе хорошую память.

2) Исключить всякую литературу, кроме переводной, и основать дело на чистой оппозиции журналам-коттериям литераторов. Главная роль — к р и т и к е с знаменем независимости, обусловленной (исключением) литературы.

3) Четыре книжки в месяц, в маленькой, даже с е р е н ь-

к о й форме покойника "Телеграфа". В каждой — политика (Погодин — но н и к о г д а Лешков) и критика, журналистика — полемическая до беспощадности и проч.

Иного средства — нет. Это может, конечно, лопнуть, но может и вывести".

В этом письме-программе, как и во всем способе мыслить и жить Ап.Григорьева, проявляется особый дар его личности, возникает тот "двуликий Янус", который вечно виделся Ап.Григорьеву как некое целостное, органическое начало новой жизни.

Вот злая ирония судьбы Ап.Григорьева: будучи почти последователем немецкого романтизма, он чужается его отвлеченной созерцательности, его платонических идей, их реализации; рождая конкретно оплотненные мысли-образы, требуя стремительного воплощения программы, почитая всякую теорию пороком, его критический голос остается не менее философичным, чем голоса И.Киреевского или А.Хомякова, которых Ап.Григорьев и держит за "теоретиков". Поэтому именно Ап.Григорьев и замыслил журнал, в котором ведущую роль решит отвести критике, а потом, написав свою знаменитую статью в "О современной критике", в письме к М.Погодину упрекнет себя в отвлеченности. "Если статья моя "О современной критике" напечатана не в январской книжке "Библиотеки", и если Вы её пробежали, то сделайте милость, скажите мне о ней свое мнение... В ней есть порок отвлеченной высоты представления вопросов, но есть и неотвлеченная сторона. Вообще, она — исповедание, долго думанное и, кажется, ясное" (25 января 1858 г.).

Эта замечательная статья выявит подлинный трагический антиномизм личности Ап.Григорьева. В ней Ап.Григорьев, окончательно отождествивший свое призвание с ролью критика, пытается прояснить и вычленить для себя её параметры. Враг всякой теории, он в то же время один из её лидеров, ибо тот род критики, к которому тяготел интуитивно Ап.Григорьев, можно со спокойной совестью назвать философическим. Основу критического творчества Ап.Григорьева, как и статей И.Киреевского, являл критерий истины и красоты, не только кристаллизовавший точку зрения автора на то или иное явление литературы, а создававший духовное поле, с

которым данное явление могло соотноситься, не исчерпывая его
сполна, высвобождая ему право на самостоятельное существова-
ние. Поэтому, вопреки идеологической установке Ап.Григорьева,
сам способ его рассматривания произведений литературы относит
его статьи, с одной стороны, к рангу "теоретической", либо фи-
лософской; с другой, — к "исповедальной", вмещающей в себя мак-
симум экзистенции автора. Сам же Ап.Григорьев в своей статье
"О современной критике" ^{х)} свидетельствует о критике "органи-
ческой", для которой "идеальное бытие" не нечто "от жизни от-
влеченное", то есть теоретическое, но "обоюдоострый меч". По
Ап.Григорьеву: "Все идеальное есть не что иное, как аромат и
цвет реального", "идея есть явление органическое, что она но-
сится в воздухе, которым мы дышим". В отношении к литературе
Ап.Григорьев видит две обязанности критики: "изучать и истол-
ковывать рожденные органические создания и отрицать фальш и
неправду всего сделанного".

Перечислив основные критерии, по которым критикой может
быть оудимо искусство, Ап.Григорьев так же, как и И.Киреевский,
в конечном итоге смиренно склоняется перед идеалом. "Дело-то
в том, что как искусство, так и критика ис-
кусства подчиняются одному критериуму, — пишет Ап.Гри-
горьев. — Одно есть отражение идеального, другая — разъяснение
отражения. Законы, которыми отражение разъясняется, извлекают-
ся не из отражения, всегда как явления более или ме-
нее ограниченного, а из существа самого идеального. Между ис-
кусством и критикой есть органическое родство в сознании иде-
ального, и критика поэтому не может и не должна быть слепо ис-
торической, а должна быть, или, по крайней мере, стремиться
быть столь же органической, как само искусство, осмысливая анализом те же органические начала жизни, которым
синтетически сообщает плоть и кровь искусство".

В статье "О современной критике" есть параграф, где ав-
тор высказывает такую мысль: "Создание искусства, как видимые
выражения внутреннего мира, являются или прямыми отражениями
жизни их творцов, с печатью их личности, или отражениями внеш-
ней действительности, тоже, впрочем, с печатью воззрения творца".

^{х)} Ап.Григорьев. Литературная критика. М., 1967. Статья цитиру-
ется по данному изданию.

щей личности. Во всяком случае — субъективное ли, объективное ли, так называемое творчество есть в творящей силе результат внутреннего побуждения творить, то есть выражать в образах прирожденные стремления или благоприобретенные созерцания своего внутреннего мира. И даже границы между творчеством объективным не могут быть резко определены: наблюдениями биографов и исследованиями критиков-психологов доказана во многих уже случаях связь созданий с личной жизнью творцов, да оно иначе и быть не может: что б ни выражал человек, он выражает только самого себя; что б ни созерцал он — он созерцает не иначе, как через призму своего внутреннего мира". По Ап. Григорьеву, "между искусством и критикой есть органическое родство", поэтому критика Ап. Григорьева точно так же, как его поэзия, есть исповедание. А статья "О современной критике", посвященная Ап. Майкову, — исповедание "долго думаное", ибо в нем есть и ретроспекция, и отчетливая проекция в будущее, и экзистенция настоящего.

Верование в реализацию "Москвитянина", журнала, в котором главенствующая роль отдается критике, оказалось беспочвенным. Реализм Ап. Григорьева и реализм жизни, как всегда, не совпали, хотя, как думалось Ап. Григорьеву, его критерии были лишены славянофильской отвлеченности, теоретичности. Видимо, в результате этой дурной бесконечности несовпадений и получил Ап. Григорьев имя последнего романтика, русского Гамлета.

"Приехал Тургенев и мы с ним сидим ночи и говорим, говорим. Я читал ему написанное мной за границей. Он, вложивши перст в самое больное место моей личности, в разбросанность мысли, в ее неудержимость разлива, тем не менее сказал, что: только у меня, в настоящую минуту, есть сила, что только во мне есть полнота какого-то особенного учения, которое вовсе не исключительно, как Славянофильство..... 2) что для успеха, я должен долбить, как покойник Виссарион, ограничить себя, повторять без малейшего зазрения совести: одним словом, долбить, долбить, долбить, 3) что долбить мне, в настоящую минуту, негде, ибо ни к одному из существующих направлений я пристать не могу, то есть что ни одно меня не примет и ни одному я не могу по чести и совести делать уступок, ибо у ме-

ия выработано свое крепкое и цельное. Всё это я знал и знаю, и все-то это меня приводит в безобразнейшее состояние. Прибавьте к этому безнадежность домашних дел, неисцелимую беспорядочность во всем житейском, да еще и постороннюю-то обстановку, развивающую в моей и без того озлобленной, как цепная собака, душе желчь и ненависть" (М.Погодину, 10 марта 1858 г.).

Но судьба была, видно, Ап. Григорьеву стать редактором столь чаемого "Москвитянина", и принял он по безнадежности литературных и безобразности домашних дел предложение графа Кушелева-Безбородко. "Провидение пришло ко мне на помощь в виде графа Кушелева-Безбородко, — признается он М.Погодину, — по последнему письму моему Вы видели, как мало я верю в наш журнал и видели, вероятно, как основательно это неверие. Не с кем работать. Возобновить полный круг, такая мечта. А Кушелевского журнала средства безграничные — редактором его, по имени, будет он сам, помощником, тоже только по имени, друг мой — поэт Полонский. *szgo*, без имени редактора, я буду душой журнала. Стало быть, ничтоже сумняся, я предложение его принял, тем более, что все мною написанное здесь, а в этом написанном, со свойственной мне резкостью и безобразием, приведено все, что я передумал, — принято им безоговорочно и даже куплено... Вероятно, Вы уверены, что я лучше буду жить метеорской жизнью, чем отрекись от самой доли того, что я купил жизнью мысли. А с другой стороны, мне нечего больше и делать. Служить я могу теперь еще меньше, чем когда-либо, ибо, признаюсь Вам, плохо верю в наши реформы" (15 апреля 1858 г.).

Несколько неуверенный и по-детски оправдывающийся тон письма выдает в Ап.Григорьеве некое недовольство собой. От вынужденного согласия принять предложение, к которому не лежит душа, поскольку невозможна реализация Москвитянской программы, веет безнадежным холодом. Последнее флорентийское письмо И.С. Тургеневу еще с большей силой подчеркивает, что новая, почти эйфорическая ситуация обернулась, по его формуле жизни, тяжелой раной, хотя и забрезжила явственная возможность вновь "писать" и "печатать", осуществляя экзистенцию литератора-критика. Ибо, для Ап.Григорьева слово "писать" ещё отождествлялось

со словом "печатать".

"Представился снова случай писать и печатать, как мне угодно и что мне угодно. Кушелев купил мою деятельность для своего журнала. Знаю, что многие из друзей моих в обоих лагерях на это возопиют, как на б е з о б р а з и е, но ведь так же возопили некогда на деятельность в "Москвитянине". А потом — мне нет выбора. Ни "Современник", ни "Вестник" — ничего мне уступить не могут из своих убеждений и взглядов, ни я, — как Вы согласитесь сами, — не могу, и, как я чувствую, н е д о л ж е н уступать ничего своего... *Ergo... alio jacta est*. Посмотрим, что будет тут... Но что будет, то будет, а будет то, что Бог даст" (II мая 1858 г.). Так ничего и никому "не уступив из своего", он так же, как и в случае с воспитанием князя, передоверил свою судьбу в руки Божьи.

Если тогда он писал Ек.Серг.Протопоповой: "Помолитесь, когда-нибудь за усталого странника, мой добрый Ангел! Молитвы таких душ, как Ваша, доходят к Богу" (6 января 1858 г.), но теперь он доброму Ангелу признавался в следующем: "Как ни много и как ни часто я писал Вам, но все-таки Вам передавались только одни результаты умственных и нравственных процессов, со мною совершившихся, или одни судороги переходов из одного процесса в другой. Когда мы увидимся и когда я спокойно расскажу Вам все эти долгие и болезненные процессы, Вы поймете, почему я окончательно убедился, что Тайная Сила не оставляет тех, которые хотя и ропщут и безумствуют, но веруют в нее и нестесненно ей молятся. В мои руки, м о ж е т б ы т ь, вручается судьбою человек мягкий, как воск, благородный и доверчивый, как дитя, богатый, как Кокорев, если не больше. М о ж е т б ы т ь, говорю я, ибо сам я, по своей гнусной раздражительности, с одной стороны, и полной бесхарактерности, с другой, могу испортить все дело. Помолитесь, мой добрый гений, чтобы Бог послал мне ч и с т о т у сердца, бескорыстное желание добра... А то ведь что же это за гадость такая... Человек может в два дня обделать другого человека, о б а я т ь его своей личностью, и сам же потом все изгадить нетерпеливостью, ленью, распушенностью" (27 апреля 1858 г.). Ибо о себе он знает только одно, что им владеют "тысячи жизненных бесов"

и любит он "беспутных и безобразных" (об этом он напишет Ек. Серг.Протопоповой, уже вернувшись из прекрасного "далека" в холодный Петербург). Поэтому он и не надеется на благотворную силу своих молитв. И не уступив "ничего из своего" никому, он именно в этом и останется единственным для своего времени и последним рыцарем романтизма.

х

х

х

Творчество романтического критика и поэта Ап.Григорьева — лишь отзвук того романтико-трагического существования, об осмыслении которого он писал в письме к Евг.Эдельсону: "Пишу я, правда, целую книжицу "Друзьям издалека", но в ней прекрасное далеко есть место или пункт, с которого идет разработка внутреннего вопроса о непосредственном романтизме и о прочем" (II сентября 1857 г.) /разрядка — Г.М./.

Внутренний вопрос "непосредственного романтизма" во многих письмах Ап.Григорьева будет именоваться способом "жизни по душе". Данный способ жизни выявляет в его создателе феномен, никоим образом не отождествимый с какими-либо современными ему духовными и идеологическими течениями. Славянофильский и западнический концепции Ап.Григорьев противопоставил свою непосредственную, понимаемую им как органическую, основу жизни, на самом же деле, некий прообраз религиозного экзистенциализма XX века. Может быть, с той только разницей, что для XX века формула экзистенциализма оказалась в искусстве и литературе почти универсальной, привлекла к себе многочисленных приверженцев и последователей. Концепция жизни, выдвинутая Ап.Григорьевым, воспринималась его современниками как персоналистически-абсурдная, не имеющая "земли под ногами". В письмах к Евг.Эдельсону Ап.Григорьев пытается защитить принцип жить, выдвинутый когда-то "москвитянской" порой, теперь же канувшей в Лету, сохраняющий аромат только для него одного. Заряженный воспоминанием пленительной юности, он стремится

последовательно раскрыть Евг. Эдельсоны ту полноту смысла и чувства, который таит для него формула "непосредственного романтизма": "Чувство живого в жизни, любовь к жизни в жизни и отвращение ко всякой мертвячине, в какой бы сфере она ни явилась, ко всякой бездарности, моральной или умственной, какими бы великолепными одеждами учености, образования и проч. она ни облекалась. Одним словом, это есть второе слово: "Непосредственность" (13 ноября 1857 г.). И далее в другом письме, как продолжение начатого разговора, который, как всегда у Ап. Григорьева, по мере погружения в него, принимает иной оборот и выглядит достаточно трагическим: "Господи Боже мой! Неужели же, спрашиваю я себя много раз, именно ~~принцип~~ разврат, безобразие и беспутство делали и делают мне столь привлекательным наше общее прошедшее?.. Неужели же я в самом деле такое чадо бунта, каковым тебе было угодно меня представлять?.. Если бы это было так, то я был бы давно социалистом, но социализма-то именно и не переваривала никогда моя душа, хотя в нем чисто плотские и произвольные требования получают законность, догматизируются... Ты можешь на это отвечать мне вот что: ты любишь беспорядок и ненавидишь социализм именно за то, что он определяет беспорядок, приводит его в порядок, в систему, а тебе доскучно просто нужно безобразие... Т.е. что такое? Жизнь, ее бесконечная красота и бесконечные типы? Т и п и ч е с к о е все сглаживается социализмом, — остается одно общее, как нормальное отправление... В сущности, идея социализма и идея езуизма сходятся: та и другая суть водворение мертвого покоя; только способы разные: ... но две вещи постоянно вопиют на (неразборчиво) создании — море и душа человека, между которыми, как я убедился личным знакомством с физиономией первого и с жизнью последней, очень много тождественного... Не шутя, но об этом после, или лучше сказать, с этим припевом о море и душе человека написана уже целая толстая книга — да и не в этом теперь дело... Дело в вопросе о порядке и безобразии или, лучше сказать, р а з н о о б р а з и и (разрядка — Г.М.)... Человек тогда-то и тогда-то мог и может быть слаб, но как то, что Петр зарыдал при крике петуха, так и то, что Иуда удавился

на осине, служит великим доказательством в пользу того, что душе человеческой весьма непереносно быть в двойственном состоянии; в этом адском противоречии, которое залива^ется пьянством до бесов или ~~ниги~~ заглушается преферансом с приходским приставом — этой милейшей утопией, которую со свойственной ей резкостью и благородством иронически ставила некогда твоя жена..... Ты берешь всякую задачу только л о г и ч е с к и и ставишь ее в схемы абсолютного решения... А дело-то в том, что надобно поверить в минуту безгранично текущей жизни, ее о с т а н о в и т ь, ее о п р е д е л и т ь". Письмо заканчивалось такими словами: "Да хранит Вас всех Господь и да даст Он н а м в с е м (разрядка — Г.М.) веры, веры, веры, хотя зерно горюшно — и снова до оплошит нас в единение духа, союз любви и мира..." (16 ноября 1857 г.). Так, если "остановленная минута безгранично текущей жизни" в экзистенциальном опыте Евг.Эдельсона вырождается в мещанство, то в опыте Ап.Григорьева она обобщается трагедией.:

"Что в меру я — уж так судил мне Бог
Ни радоваться, ни страдать не мог!"

В письме-дневнике — "часовике" — от 6 января 1858 г. к Ек. Серг. Протопоповой как бы окальпируются те душевные недуги, в результате которых и выводится его основная формула жизни, а остановившееся мгновение превращается в пропасть: "Да, любезный друг мой, себе ли я тут р^и придаю значение, подумайте хорошенько! Нет; а тому, чего я мученик и раб, что я выстрадал и родил, тому, что во мне Божья сила, а не человеческая личность... Мои резкие требования правды и идеала от жизни — столь мучительные для меня, столь часто непереносимые, — таковы только для меня; а на других они действуют, как толчок к развитию. Сжигая меня, они только греют тех, для кого они по натуре их нужны. Таково было пока значение моё. — и в жизни, и в литературе, — да должно быть, другого и не будет. А устал я, устал страшно и, смиряясь под крепкую руку Божию, все-таки хотел бы успокоиться в жизни или в смерти — это все равно! Помолитесь когда-нибудь за усталого странника, мой добрый Ангел! Молитвы таких душ, как Ваша, доходят к Богу. До свидания!" В контексте

письма ощущается одновременно и потенции души к восхождению, и ерническое отчаяние, ибо без "разнообразия", то есть падений и взлетов, для Ап.Григорьева не мыслится его экзистенция, то есть "жизнь по душе", или "непосредственный романтизм".

"Письмо приняло решительно вид дневника, — ну, *es say* ! На то, что писал вчера ночью в Сиенне, не хочу и глядеть, даже совестно этого безумного и больного бреда лихорадки. Если б я меньше в Вас верил, — я бы его изорвал... Но была же эта ночка хорошая! Вообще — горе тому, у кого память не коротка... и тому, кто во взгляде на долг жизни не сходится с обыкновенным пониманием этого долга". Классический замкнутый круг. Несоответствие персоналистического понимания долга, как некоего абсолютного критерия, но реально полагаемого, с относительным житейски понимаемым. Поэтому, если положительная созерцательность друга юности Ап.Григорьева — А.Фета — обращивается олимпийством, то "непосредственная" метеорская жажда воплощения Ап.Григорьева готовит ему путь изгоя. По Ап.Григорьеву, "Фет, как ни даровит, как ни умен и тонок, но он узок в сравнении с нами". В письме к Фету от 4 января 1858 года оквозит еще робкая надежда на взаимное понимание, но в конце письма уже предчувствуется разрыв. "Неблаговидный наскок" на старую дружбу — просьбу о денежном вспомоществовании беспутному Ап.Григорьеву житейски основательный А.Фет оставил неудовлетворенной. Неблаговидное, и как любил выражаться Ап.Григорьев "безобразное" поведение его персоны становится обратной стороной "непосредственного романтизма", выходом из тотального духовного одиночества.

"Мы, значит, с тобою опять одни и, с нашими взглядами, не имеем, "яко сын человеческий", где главу преклонити (Евг.Эдельсону, 9 января 1858 г.). "Ни из меня, ни из нас вообще — ничего не выйдет да и выйти не может, да и время теперь не такое. Мы люди такого далекого будущего, которое купится ещё долгим, долгим прощесом. Околеет мы бесславно, без битвы, а между тем, мы одни видим смутную настоящую цель. Не эти же ~~пере-~~ до в ы е л ю д и, исчисляемые кумом "Современником". ... Мне так тяжело, что Вы наверное, простите мне мое моральное отчаяние. Право, оно результат таких долгих дум, таких долгих

ночей без сна, такого цинического анализа ~~ни~~ самого себя, таких раздражений собственными и чужими гадостями..... О, какая мы дрянь и как свято то, что мы в груди носим, перед этим носимым жалко и узко все, что доселе носили другие мы, т.е. народ, народ свежий и вместе извращенный столетиями неестественной жизни, доведенный до тупости чувства и вместе ко всему относящийся критически! Не верю я ни во что, что у нас делается, ибо везде вижу шаг вперед да три назад. Кажется бы завязал глаза и бежал ещё за тридевять земель, хотя бы в тридесятом государстве истосковался до беснования по проклятой и вместе милой родине."

Постепенно, местоимение "мы" в письмах Ап.Григорьева заменится местоимением "я". Ибо для Евг.Эдельсона способ "жизни по душе", провозглашенный Ап.Григорьевым, со временем вычленился в теорию, а у А.Островского претвердился в творчество. Лишь судьба Ап.Григорьева окажется равнозначной и равновеликой своей формуле. "Непосредственному романтизму", верности "жизни по душе" он пожертвует всем, начиная от материального благополучия и кончая даром поэта и критика. В финале жизни он мужественно осознает себя "ненужным человеком". Поэтому, оценивая себя со всей строгостью аналитика в письме к Ек.Серг. Протопоповой, Ап.Григорьев повторяет: "Характера у меня нет, как у всех артистических натур, а есть только воля, страстная упрямая самолюбивая", словом, не та, о которой говорил А.С. Пушкин,.

Ап.Григорьев, говоря его словами, "фанатически преданная своим самодурным убеждениям натура", создавший целый ряд поэтических шедевров, недооценивал в себе поэта. Создатель новой философической концепции во имя "непосредственности" стал гонителем всякой отвлеченности. Проницательнейший из критиков оказался лишенным возможности заниматься критикой, ибо не сумел отождествить свой образ жить и мыслить — а значит чувствовать — ни с одной журнальной редакцией своего времени, так как более всего на свете дорожил свободой, понимаемой им все в том же ракурсе "жизни по душе", основание которой искал в "Боге правды, любви и свободы".

Вольно трансформировав Евангельскую триаду христианской жизни в Вере, Надежде, Любви, Ап. Григорьев свою трансформацию противопоставил триаде, выдвинутой французской революцией, с ее свободой, равенством и братством. Рассматривая вопрос "о правах плоти" исключительно как негацию (в отличие от прав Духа), Ап. Григорьев указывал Евг. Эдельсону: "из этого никак не следует, чтобы первая половина формулы, правильно понятая, была виновата, и не следует отрекаться от оной из-за безобразия второй" (5 декабря 1857 г.).

Так "свобода" в союзе с "любовью" и "правдой" стали основными векторами в его жизни. При этом осознав, с одной стороны, себя пасынком на попрание любви к единственной — к его собственной половине: "Она замуж вышла"; с другой, и к Родине — "Мир и счастье не нам", Ап. Григорьев свою личную жизнь воспринимает исключительно неотъемлемой от литературы. Разумеется, все в тех же параметрах — "правды" и "свободы".

Но трагедия Ап. Григорьева в том, что его социально-историческое одиночество вступает в конфликт с "непосредственным романтизмом". Конфликт влечет за собой "безобразие", то есть "дрянь". "Жизнь по душе" не становится жизнью души. То "святое", что носится в груди, не выносится на святильнике, а хранится в тайне.

Самое откровенное и самое трагичное, а отсюда и экзистенциально-мистическое, признание Ап. Григорьева возникает в письме к Ек. Серг. Протопоповой: "Более, чем когда-либо я понимаю (да понимал и во время самого питья опiums), что успокоить подобные натуры могут только две вещи: Афонская гора или виселица. То или другое — решит Господь. Никогда столь сильно не сознавал я, с одной стороны, того, что все наше земное бытие есть чисто призрачное, и что, с другой стороны: "больше сея любви ничтоже есть, аще кто душу свою положит за други своя".... Мир и счастье не нам. Ч У Д Е С А же замолкли, пора к этой мысли привыкнуть... или, если хотите, чудеса совершаются только во внутреннем мире души, всё более и более отрывая ее от пристрастия к чему бы то ни было земному, преходящему..." (19/22 марта 1858 г.).

Полностью потеряв веру и надежду на реализацию себя в том

историческом пространстве, в котором ему уготовлено странствовать и скитаться, он обретает живую непосредственную веру. Оставаясь на краю одиночества, вручает свою жизнь в руки Господа. Открывается надежда на свершение чуда во внутреннем, трагическом мире души. Но за отчаянием снова последовало чудо искушения. Кающемуся грешнику последний раз была подброшена оломинка. С графом Кушелевым-Безбородко родились новые романтические иллюзии о чуде реализации. "Дай Бог здоровья Кушелеву! Я давно не бывал счастлив, а тут я был как ребенок счастлив. И все-таки поклон земной Вам, что Вы послали меня в Италию. Вообще мне грешно не верить Провидению, и я окончательно отдался воле Его, слепо, покорно...", — писал он М.П.Погодину 15 апреля 1857 г. Сблaзн был кратковременным. Перед ним действительно открывалась дорога или на Афон или на виселицу. Без всяких иллюзий начиналась собственно реализация жизни души. Душа Ап.Григорьева не оподобилась святости, не ушел Ап. Григорьев в монастырь, не омрачилась она и преступлением великого грешника, не послал его сатана в петлю, хоть и лежала на нем, как считал Ап.Григорьев, "печать каиновского проклятия" и прозревались в его облике черты Сатира и Мефистофеля, а оказалась она хрупкой душой "великого трагика".

х х

х

Рассказ-очерк "Великий трагик", появившийся в первом номере журнала "Русское слово" за 1859 г. с одной стороны, должен был войти вместе с поэмой "*Veneziale Belli*" (Дневник странствующего романтика) в "Одиссею о последнем романтике", с другой, — означать собой цикл статей из "Бесед с Иваном Ивановичем", где Иван Иванович и есть последний русский романтик, а точнее, двойник Ап.Григорьева, бережно охраняющий "Мочаловского времени наследство". В "Великом трагике" в художественной полноте встает, как некое лирическое исповедание, печальный образ русского странника, который может быть не столь эффектно, как Сальвинский Отелло, но не менее трагично уходил

со сцены жизни.

"Да вот что, — и я остановился идти и остановил Иван Ивановича за металлическую пуговицу его бархатного пиджака... — Истинный трагик такая же редкость, как белый негр. Право... Физиономия у трагика должна быть особенная, голос особенный и, *par dessus le marché*, душа особенная — Но именно *par dessus le marché*, — заметил Иван Иванович. — Одной души трагической мало: надобно, чтоб средства у нее были выразить себя... — А что такое трагическая душа, Иван Иванович? — Бог ее знает, что она такое, — отвечал он. — Может быть, именно то, что вы называете веянием... — Да, оказал я, почувствовавши себя на своей почве... — Трагик как Мочалов есть именно какое-то веяние, какое-то бурное дыхание. Он был целая эпоха и стоял неизмеримо выше всех драматургов, которые для него писали роли. Он сумел создавать высокопоэтические лица из самого жалкого хлама: что ему ни давали, он — разумеется, если был в духе — на все налагал свою печать, печать внутреннего, душевного ~~плавления~~ трагизма, печать романтического (разрядка — Г.М.), обаятельного и всегда зловещего". И далее: "Мочалов то тем был велик, что поэзия его созданий была, как веяние эпохи, доступна всем и каждому — одним тоньше, другим глубже, но всем. Эта страшная поэзия, закружившая самого трагика, разбившая Полежаева и несколько других даровитейших натур, в том числе поэта Иеронима Южного, — эта поэзия имела разные отражения, в разных сферах общества. Одна из глубоких черт Любима Торцова Островского — это то, что он жертва мочаловского влияния; еще резче наш поэт выразил это в лице заколоченного в голову до помещательства и помешавшегося на трагическом Купидоши Брускова...

— Да-с... великий трагик есть целая жизнь эпохи, — прервал Иван Иванович; — И после этого будут говорить, что влияние великого актера мимолетное! — Вы сказали, жизнь... Не вся жизнь, но жизнь в ее напряженности, в ее лихорадке, в ее, коли хотите — лиризме".

Эту жизнь в ее "напряженности", "лихорадке" и "лиризме", как некое определяющее свойство русского Гамлета — Мочалова, нес московский мещанин Ап. Григорьев с рыцарским достоинством,

действительно, ведомом разве что принцу датскому.

Рассказ "Великий трагик" заканчивался так: "Иван Иванович мрачно и беспощадно пил коньяк, а я смотрел в окно кофейной на чудную весеннюю, свежешавшуюся ночь да на мою любимицу, колокольню — эту разубранную инкрустациями, но не отягощенную ими, стройную, легкую и высокую ростом красавицу! И одно только я знал и чувствовал, что хорошо, по словам нашего божественного поэта, "упиться гармонией и облиться слезами над вымыслом". Когда я сказал эти стихи, Иван Иванович прервал меня с каким-то рыданием dokonчил:

И может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной!..

потом с бешеным ударил кулаком по столу.

Я хотел было сказать ему, что Александр Македонский, конечно, герой... но удержался, — мне стало жаль его, последнего романтика, добросовестно и постоянно вновившего в личную жизнь поэтические впечатления и жертвовавшего им всем, что зовется в жизни положительным (рядка — Г.М.), я только спросил его: — Иван Иванович — отчего вы, переживший, переживавший много, не напишите о "трагическом в искусстве и жизни". Вы ведь сами на этом коньке ездили — и можете сообщить много интересных наблюдений!

— Нет, уж пишите лучше вы, — отвечал он с горькой улыбкой и подымаясь с места. — Вы забываете, — добавил он, взявши фуражку, — что ведь это — тема, не дописанная тургеневским Рудиным — а мне прозвище Рудина, которое я имел честь получать не раз от двух женщин, надоедо до смерти!"

Душа Ап. Григорьева, столь откровенно высказавшаяся и проявившая себя в письмах, искала себе защиты под маской некоего Ивана Ивановича... Она оказалась трагической душой последнего русского романтика — "веянием" целой русской эпохи. Но в отличие от трагиков театральных подмостков, она была трагическим воплощением веяний самой жизни, той жизни, которую преломила

русская литература двадцать лет спустя в ее Крамазовых и Протасовых. Парадокс в том, что Ап. Григорьев, готовящийся после смерти В. Белинского получить "патент на звание обер-критика" русской литературы, оказался сам её основным персонажем. Ап. Григорьев, как и его Иван Иванович, будучи "великим трагиком" в самой жизни, отказался писать теоретический трактат "о трагическом в искусстве и жизни", отказался от права "надменно судить великих русских художников с точки зрения эстетических канонов немецких профессоров" или с точки зрения "прогрессивной политики и общественности", так, как и его Иван Иванович, он вносил в свою личную жизнь столько лихорадочных и поэтических впечатлений, в угоду которым пожертвовал всем, в конечном итоге и своей жизнью. "Все во мне как-то расподлым образом переломано... Нет! глубокие страсти для души хуже всякой чумы, — ничего после них не остается, кроме горечи их собственного расадка, кроме вечного яда воспоминаний" (Ек. Серг. Протопоповой, 24 ноября 1857 г.).

А я? .. Давно пора мне привыкать
Senza amore ^{X)} по морю блуждать.

("Venezia la Bella", 1857 г.).

Постскриптум

"Куда ни посмотришь, право, все такая мерзость и гниль, а в себе-то самом мерзость в особенности. Говорят, идет чума. Вы помните, я ждал много доброго от кометы!... Мерзко, мой добрый, нежный, благородный друг. Я даже наконец ни во что не верю, кроме художественной иронии жизни. Положим, в дальнейшем, загробном развитии души ей объяснится, что это ирония есть вместе и Высочайшая Любовь, да когда-то ещё объяснится!... Читайте, Бога ради, теперешние статьи: в них кладется вся моя душа, жизнь и кровь. Может быть не долго маяться-то — торопись все высказать, нагорело в душе. Зачем видел Италию — меня

^{X)} Без любви (итал.).

к ней тянет болезненно, а между тем там я хандрил, да и теперь бы, верно, хандрил по России. Любовь ли, мысль ли, впечатление ли (как Италия), все как-то обращалось и обращается мне в казнь и язву... А всё оттого, что я недовершенный Создателем артист, у которого творчество съедено анализом..., нет, мало этого: наперед подорвано жаждой жизни..." (Ек.Серг. Протопоповой, СПб, 1859 г., 5 февраля).

"В таком-то неустойчивом равновесии вернулся блудный годинский сын — только не в Москву, а в Петербург, и прямо угодил в белые ночи. Как бывает с людьми, которые долго жили в "иных мирах", наедине с собою он потерял последнюю "приспособляемость", если и обладал когда-нибудь такою... Пропивая все, Григорьев садился в долговое отделение, в так называемую "тарасовскую кутузку", туда он брал с собою гитару и журнальную работу; утихомиривался и довольно аккуратно писал; а, как это бывало с русскими неоднократно, в тарасовском доме Григорьева даже знали и уважали. Впрочем, журнальная работа уже шла туго. В один прекрасный день Григорьев, как и прежде случалось с ним, сбежал из Петербурга. Причиной тому была будто бы "ссора" с Достоевским и желание поправить денежные дела службою в Оренбурге. Негласной причиной был всё тот же подтачивающий червь", — скорбно отмечал А.Блж. Оренбург — это город "без истории, преданий и памятников.... смесь скверной деревни с казармою" — вписался в биографию Ап.Григорьева новой личной драматической "историей" — разрывом с Марией Федоровной — "устижской барышней", лекциями о Пушкине, статьей о Толстом, девятидневными запоями, поэмой "ВВверх по Волге", а главное — письмами к Страхову. Этот эпистолярный цикл Ап. Григорьева представляет собою философскую квинтэссенцию того "непосредственного романтизма", который ныне полностью собою исчерпывал экзистенциальную формулу автора. Окончательно излечившись под сводом белых ночей от всякого рода западных и славянофильских мечтаний. Ап.Григорьев теперь подчеркнуто демонстрировал своё безнадежное восприятие мира сего. Но параллельно с этим безысходным чувством в нем зарождалось новое, иное, почти кроткое самоощущение себя грешного перед миром Иным. "Страх, его же убоюся, найде на мя". Смысл Ветхо-

заветного пророчества многострадального Иова открывался теперь ему во всей нелюбезной наготе. Но русскому Киркегору, своеобразному предшественнику Л.Шестова, постигнутому меру Иова "гнуса", не хватало основного, той действительной веры, которая стала краеугольным Камнем, смыслом жизни Ап.Григорьева.

"Самая простая вещь, — что я решительно один, без всякого знамени... Хандра — вот почти одно, что выражает мое душевное состояние, хандра полнейшей безнадежности и неутолимой жажды какой-либо веры! Ангелу Сардийской церкви...". — писал он Н.Н.Страхову от 18 июля 1861 г. А в послании к Сардийской церкви мы читаем: "И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя". (Откровение Святого Иоанна гл.3, 1-3). По абрису событийно-поведенческого существования Ап.Григорьева чувствуется, что последний русский романтик живет теперь в ожидании этого "часа" и порою еще не совсем уснувшим художественным воображением обращает Оренбург, "самую тинистую трущобу во всей Российской империи", в Иоаннов Патмос. Смысл Ветхозаветных пророчеств и Н.Возаветного Откровения в опыте гипертрофированно ранимой души Ап.Григорьева, стал проясняться все более отчетливо. "Увы! как какой-то страшный призрак, мысль о суеде суеде, мысль безотрадной книги Экклезиаста возникает все явственней и резче, и неутолимей перед душою... Муки во всем сомневающегося ума — вадор в сравнении с муками во всем сомневающегося сердца, озлобленного и само на себя, и на все, что оно кругом себя видит". (Н.Страхову, 20 сентября 1861 г.). А в следующем письме как бы продолжение ранее невысказанного: "Нет! уж мне на роду написано хандрить. Во мне есть неутолимые заложения аскетизма и пизетизма, ничем земным не удовлетворяющиеся. Если бы я был богат, я бы, вероятно, вечно странствовал и, конеч-

но, преимущественно с религиозными целями" (1 октября 1861 г.). "Мрачно лежит теперь передо мною жизнь, почти что без значения. Гласность, свобода — все это в сущности для меня слова, бьющие только слух, слова вздорные и бессодержательные.... "Едино есть на потребу", друг, и "иде же Дух Господень — тут свобода"... А где он, Дух Господень? Увы! "Се zde Христос или инде!" (19 января 1862 г.).

Его душе, ранее жадно и непосредственно жаждущей в мире сём увидеть красоту миров неведомых, теперь "так ничего не нужно, — и даже большею частью", разве что красоты на месте упокоения: "Я р о с л а в л ь — красоты неописанной. Всюду Волга и всюду — история. Тут хотелось бы мне,, — так как Москва мне по личным горестным разочарованиям опротивела, — хотелось бы мне покончить свое земное ~~приключение~~ странствие. Тут котати чудотворная икона Толгской Божией Матери, которой образом меня благословила покойница мать. Четыре дня прожил я в Ярославле и все не мог находиться по его церквям и монастырям, налюбоваться на его Волгу" (18 июня 1861 г.).

Не чувствуется ли здесь некое родство с Гоголем "Переписки"? Видимо, это чуткое ощущение Ап. Григорьевым близости своего конца обостряет в нем тоску по собственной неосуществленности. В предпоследнем оренбургском письме к Н. Страхову возникает вариант нового творческого замысла, но судьба его, думается, уже в своем рождении предречена, как и судьба книги "Друзьям издалека". "Провинциальная жизнь, — пишет Ап. Григорьев, — которую, наконец, я стал понимать, внушит мне, кажется, книгу вроде *Reisebilder*, под названием "Глушь". Подожду только весны, чтобы пережить годовой цикл этой жизни. Сюда войдут и заграничные мои странствия и первое странствие мое по России, и жажда старых городов, и Волга, как она мне рисовалась, и Петербург издали, и любовь-ненависть к Москве, подавившей собой вольное развитие местностей, семихолмной, на крови выстроившейся Москве, — вся моя нравственная жизнь, может быть... В самом деле хоть бы одну путную книгу написать, а то все начатые и неоконченные курсы!" (19 января 1862 г.).

И теперь опять, испив до конца это неповторимое своеобразие провинциальной жизни, Ап. Григорьев бросит всё и убежит

в Петербург. Именно здесь, в чужом ему городе, он и завершит свое "земное странствие". Но вопреки тому трагическому сумбуру, которым представлялась по видимости его жизнь между запоями, журнальной работой и долговым отделением, Ап. Григорьев подведет все-таки истинно символический итог своим романтическим скитальчествам.

Оставаясь действительно последним романтиком, Ап. Григорьев отдает сполна долги тем, кого любил и во что верил. За полтора года до смерти он начнет писать для журнала "Время" своеобразный прообраз замысленной книги "Глушь" — "Мои литературные и нравственные скитальчества". В них Ап. Григорьев воскресит в памяти духовную атмосферу эпохи, "веянием" которой он себя называл.

В статьях-письмах к Ф.М. Достоевскому — "Парадоксах органической критики" — он изложит мучившие его вопросы установки, позиции критики. Незадолго до кончины в долговом отделении подготовит "Краткий послужной описок на память моим старым и новым друзьям", завершающийся такими словами: "Запрет "Времени". Горячие статьи в "Якоре". Опять "Эпоха". Опять я с теми же культами — теми же достоинствами и недостатками. Цензура! Ну — и что делать?... Видно, и с "Эпохой", как критику, а не как другу конечно и не как писателю — приходится расставаться... Тем более... но пора кончить".

Видимо, в том был Промысел Божий, что все свои еще необорванные концы Ап. Григорьев оставил Ф.М. Достоевскому. "Веяние" Ап. Григорьева продолжило свою жизнь в творчестве автора "Бесов" и "Братьев Карамазовых". На героях Ф.М. Достоевского, его выразителях "русской природы" — Версилове, Кириллове, Шатове, Ставрогине, Карамазовых лежит печать природы Ап. Григорьева, а в их исповедях чувствуется след его писем. И, наконец, в знаменитой Речи Ф.М. Достоевского при открытии памятника Пушкину отчетливо слышится Григорьевское эхо: "Пушкин — наше всё".

Интуитивно одаренный Ап. Григорьев даже письма к Н. Страхову странным образом адресовывал Ф.М. Достоевскому. В одном из оренбургских писем мы читаем: "Я несколько не в претензии

за то, что ты показываешь мои письма Ф.Достоевскому. Я его, и вообще обоих братьев, очень люблю, — хоть схожусь с ними не во всем, а во многом расхожусь совершенно. По моему мнению — они со временем согласятся со мною — нельзя "работати Богу и Маммоне": — нельзя признавать философию, историю и поэзию, и дружить с "Современником", нельзя, уважая себя и литературу, печатать д....." и далее: "Да — я не деятель, Федор Михайлович! (предполагаю, что и Вы будете читать это письмо) и, признаюсь Вам, я горжусь тем, что я не деятель в этой луже, что я не могу купаться в ней купно с Курочкиным, — я горжусь тем, что во времена хандры и омерзения к Российской словесности я способен пить мертвую, нищать с я, но не написать в жизнь свою ни одной строки, в которую бы я не верил от искреннего сердца...." (12 декабря 1861 г.). И, наконец, последнее письмо, словно нарочно уцелевшее для литературного архива Ап.Григорьева, тоже обращено к Ф.М.Достоевскому: "Любезный друг! Коли книжка вышла, то, ради Бога, пришли денег. Первое дело, что я обещал (на основании твоих же слов) портному Степанову — мне не в чем выйти; второе, что без денег в Тарасовке жить нельзя. Третье: письмо об органической критике надеюсь принести и прочесть сам вам всем в четверг. Твой Аполлон". Это письмо без даты, его написание Вл.Княжин условно относит к концу августа — началу сентября 1864 г. Видно, имелось в виду третье письмо Ап.Григорьева к Ф.М.Достоевскому из цикла "Парадоксы органической критики", однако судьба его по-прежнему остается загадочной. Написал ли его Ап.Григорьев и читал ли Ф.М.Достоевский? Но первое письмо, опубликованное в июльском номере "Эпохи", как и сам мир личности Ап.Григорьева, можно думать — одна из тех крупин, которые в дальнейшем спровоцировали философию позднего творчества Ф.М.Достоевского. "Тогда я готов был сказать (но не сказал) моему собеседнику вот что, — писал Ап.Григорьев. — Не бойтесь за человечество, что оно всё уйдет в пустыни и дебри, но бойтесь за него, когда совершенно пусты будут пустыни и дебри, когда оборвется эта струна в его организме, заглохнет эта ненасытная жажда идеала, высшего, Бога, влекущая подчас в пустыни и дебри.... Теперь я не скажу этого, ибо слишком твердо убежден, что ни-

когда эта струя не иссякнет, эта великая жажда не насытится, но в виде поучения извлеку из приведенного разговора то, что не учить жизнь жить по-нашему, а учиться у жизни на её органических явлениях должны мы, мыслители, что именно в конце концов и составляет основной принцип органического взгляда" х).

Сегодня принцип органического взгляда может явиться ключом к постижению структуры антиномического творчества Ф. Достоевского. А в словах: "Ангелу Сардийской церкви напиши..." слышатся слова Откровения, которые читает Тихон великому грешнику — Ставрогину: "И Ангелу Лаодикийской церкви напиши...", а далее вспоминаются слова письма-исповеди Ап. Григорьева своему нареченному старцу М.П.Погодину: "Православный по душе, я по слабости могу покончить самоубийством" (26 августа — 5 октября 1859 г., Петербург). Ап. Григорьев не покончил жизнь самоубийством, как Ставрогин. Он по-православному нищенским достоинством принял свой столь лжидаемый час, раздав свои духовные долги. 21 — 22 сентября, выкупленный генеральшей А. Бибиковой из "тараховской кутузки", 25 сентября Ап. Григорьев скоропостижно скончался.

"Человек, который, через любовь свою, слышал, хотя и смутно, далекий зов; который был действителен и одолеваем бесами; который говорил о каких-то чудесах, хотя бы и "замолкших"; тоска и восторги которого были связаны не с одной его маленькой, пьяной, человеческой душой, — этот человек мог бы обладать иной властью. Он мог бы слышать "гад морских подводный ход и дольной лозы прозябанье". Его голос был бы подобен шуму "грозных сосен Сарова". Он побеждал бы единым манием "костяного перста". Но разве обладали такою властью и более могучие, чем он: Достоевский, и Толстой? — Нет, не обладали. Григорьев — с ними. Он — единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина: шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост", — хх)

х) Аполлон Григорьев. Парадоксы органической критики. Эстетика и критика. М., 1980.

хх) А. Блок. Судьба Аполлона Григорьева.

Для нас же Ап. Григорьев не только "мост" от Пушкина к Достоевскому, но от Достоевского к нам. Он некий символ тех, действительно органических явлений, на которых должна учиться современная литература, ибо знание, что "обращаться со словом нужно честно", было куплено Ап. Григорьевым ценой собственной жизни.

"Я не консерватор, но и не революционер, как и ты тоже. Хотелось бы быть гражданином... Хотелось бы! мало ли чего бы хотелось!" (Н. Страхову, Оренбург, 19 октября 1861 г.). Хотелось бы закончить "земное странствие" в Ярославле на Волге, а похоронили Ап. Григорьева на Митрофаньевском кладбище в Петербурге. Описание похорон Ап. Григорьева, сохранившееся в воспоминаниях П. Боборыкина, своей атмосферой и интонацией сродни тем похоронам, которые положили конец "земному странствию" Юрия Живаго: "Проводить Григорьева собралось немного народу: редакция журнала "Эпоха", несколько человек из "Библиотеки для чтения", два-три актера, в том числе П. В. Васильев, и какие-то личности в странных одеждах, оказалось пенсионеры дома Тарасова, сидевшие с Григорьевым в одной комнате. В церкви все заметили бывшую актрису г-жу Владимирову. Она приехала проводить в могилу того театрального критика, который относился к ней всегда более снисходительно, находил даже в ней задатки большого дарования. И оказалось, что г-жа Владимирова никогда даже не видела в лицо покойного, почему и попросила одного из распорядителей похорон приподнять крышку гроба. Гроб стоял в церкви закрытым. ...Погода стояла хмурая. На возвратном пути с кладбища все зашли в кушмистерскую закутить". Но в отличие от Юрия Живаго, которого хоронила его любовь и скорбь — Лара, у гроба Ап. Григорьева вместо Л. Я. Визард стояла актриса г-жа Владимирова, никогда не знавшая покойного.

Ап. Григорьев, выкупленный из долгового отделения в счет оценоческого перевода Шекспировской трагедии любви — "Ромео и Джульетты", умер на свободе. Не имея гроша медного за душой, он был свободным от каких-либо материализованных и преходящих ценностей, храня верность слову и тайне любви, однажды открывшейся ему. Так, за месяц до смерти, в стенах "тарасовской кузницы", завершая работу над этим, ставшим символическим пере-

водом, на устах его возник последний, прощальный сонет, посвященный Л.Я.Визард.

И все же ты, далекий призрак мой,
В твоей бывалой, девственной святыне
Перед очами духа встал немой,
Карающий и гневно-скорбный ныне.

Когда я труд заветный кончил свой,
Ты молнией сверкнул в глухой пустыне
Больной души... Ты чистою струей
Протек внезапно по сердечной тине,

Гармонией святою вторгся в слух,
Постряс в душе седалище Ваала —
И всё, на что насильно был я глух,

По ржавым струнам сердца пробежало
И унеслось — "куда мой падший дух
Не достигнет" — в обитель идеала.

(26 июля 1864).

Разве творчество, жизнь и смерть Ап.Григорьева не равны той концепции "непосредственного романтизма", которую странствующий русский Гамлет проповедывал как универсальную формулу жизни в своих письмах-исповедях?
